

ЯЗЫК КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ О НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЕ МИРА

Анна. В. Павлова

SAPAG, Гейдельберг, Германия

The Sapir-Whorf hypothesis is holding that the grammar and the vocabulary of a language affect the perceptions of reality and influence thought patterns and worldviews. Similar ideas have been formulated by Leo Weisgerber in Germany in the first half of the 20th century. The hypothesis of Sapir, Whorf and Weisgerber has been heavily criticised. Nevertheless, the Language Relativity hypothesis is becoming more and more popular in the modern Russian linguistics. This Renaissance constrains to find some additional arguments against the idea that the knowledge about the culture can be derived from the language and that the language can be regarded as a source for finding a specific worldview.

Может ли язык служить надежным источником для воссоздания национальной картины мира? И существует ли вообще национальная картина мира или национальная ментальность?

Традиция использования лексического состава языка для выведения тех или иных постулатов о национальном характере народа посредством «ключевых слов» восходит к работам Анны Вежицкой (1992; 1996; 1997; 1999). Эта традиция была подхвачена и развита московскими лингвистами – специалистами по лексикологии и семантике (Зализняк и др., 2005), а в последние годы получила широкое распространение по всей России (Карасик, 2005; Русские и «русскость», 2006; Роль русского языка..., 2007). Это произошло, по-видимому, потому, что вместе с СССР рухнула система, не позволявшая населению свободно планировать свои маршруты и контакты, и люди получили возможность ездить за рубеж, беспрепятственно общаться с иностранцами, изучать и сравнивать живые языки и культуру разных стран. Вторая причина заключается, вероятно, в том, что вместе с Советами испарилась и их идеология, рухнули запреты в науке, марксистско-диалектические принципы научной методологии перестали быть единственно возможными и единственно верными, и на фоне этого нового развития знаменитая гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа, в

советские времена резко осуждавшаяся в лингвистических учебниках как в корне неверная, вновь привлекла пристальное внимание и показалась исследователям заслуживающей серьезного рассмотрения. Так, приводимый ниже текст – цитата из изданной в 1997 г. лингвистической работы – еще в начале восьмидесятых годов вряд ли мог быть опубликован: *«Мы знаем, что ярким отражением характера и мировоззрения народа является язык и, в частности, его лексический состав. Анализ русской лексики позволяет сделать выводы об особенностях русского видения мира <...> и подвести под рассуждения о русской “ментальности” объективную базу, без которой такие рассуждения часто выглядят поверхностными спекуляциями»* (Булыгина и др., 1997: 482). Выражения «характер народа», «мировоззрение народа», «русское видение мира», «национальная ментальность» в учебниках по языкознанию советского времени были непопулярны. Освобождение лингвистики, как и прочих наук, от идеологических запретов – несомненно, неоценимый шаг вперед. Возврат же к гипотезе лингвистической относительности и неогумбольдтианству представляется сомнительным достижением. Неясно, от чьего имени сформулирована фраза *«мы знаем, что...»* – то ли авторы книги знают, что язык является ярким отражением характера народа, то ли и читатели (по мнению авторов) это знают. Автор настоящей статьи этого не только не знает, но даже не уверен, что пресуппозиция данной фразы (*«ярким отражением характера и мировоззрения народа является язык»*) верна.

Подход, изложенный в процитированном тексте, вызывает возражения по нескольким направлениям. Во-первых, понятие **«национальная ментальность»** на сегодняшний день не является научным понятием: для него не существует внятного определения, оно является с научной точки зрения недоказанным и потому не допустимым в научных трудах (даже если оно стыдливо заключается в кавычки). Существуют культурные традиции народа, их можно наблюдать и описывать, этим занимаются этнография и лингвострановедение. Письменные размышления писателей, поэтов, путешественников о ментальности того или иного народа принадлежат к литературному наследию – эссеистике или беллетристике. Когда Гоголь или Достоевский пишут о русском характере – это факт литературный, но не научный. *«Какой русский не любит быстрой езды»* – привычная для учеников средней школы цитата, но не предмет для лингвистического анализа. Из этой фразы следует только, что Н.В. Гоголь считал, что все русские любят быструю езду. Так ли это на самом деле, никто никогда не выяснял, статистических данных нет.

Кроме того, времена меняются и сейчас на птицах-тройках уже мало кто ездит. Ездят на общественном транспорте и на личных автомобилях, причем часто нарушают правила, превышая скорость, но является ли этот факт выражением русского удалства и русской бесшабашности или всего лишь низкой культуры поведения на дорогах и пренебрежения к правилам вождения, неясно.

Представление об «особенной стати» России и уникальности «русской души» постепенно складывается на занятиях русской литературой и под ее влиянием, а также под влиянием средств массовой информации. Общность взглядов представителей той или иной нации на жизнь, т.е. общность концептов, называемая «ментальностью» народа, если и имеется в определенном приближении, то лишь в той степени, в какой этому обучили в школе учителя и в какой степени ученики эти уроки усвоили, а усвоили они взгляды Достоевского, Толстого, Гончарова, Тургенева, Блока и Маяковского, т.е. чужие взгляды на собственную ментальность, каковой до того момента попросту не было. Ментальность появляется тогда, когда о ней начинает говорить кто-либо авторитетный или талантливый как о чем-то безусловно имеющемся. Когда ученик читает у Островского в «Бесприданнице»: *«Иностранец, голландец он, душа коротка; у них арифметика вместо души-то»*, – он, возможно, верит, что у иностранца на месте души арифметика, а у русского – раздолье, тоска и молодечество. Если бы ученик не прочитал этого у Островского или не узнал об этом от учителя, то он оставался бы в полном неведении относительно особенностей русской ментальности, ее отличий от ментальности иностранцев, а также о свойствах собственного характера как элемента характера общенационального. Возможно, это жизнерадостный и полный оптимизма человек, которому внушают, что он, как русский, относится к жизни с глубокой и неизбывной тоской и что для счастья ему требуется приволье и раздолье. Возможно также, что это человек серьезный и дисциплинированный, с гипертрофированным чувством ответственности, пунктуальный и обязательный – а ему объясняют, что он, как представитель русского народа, относится к жизни с молодецким поствистом, а также живет по принципу *на авось*. Он послушно усваивает и повторяет эти положения. Ему внушают идею превосходства его родного языка над всеми прочими, цитируя высказывания Тургенева *«о великом и могучем»* и Ломоносова, находившего в русском языке *«великолепие гишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и*

латинского языка». Совокупность этих стереотипов как выражения русской ментальности и является русской ментальностью. Таким образом, идея национальной ментальности как набора некоторых концептов, присущих всем или большинству представителей определенного народа, складывается под воздействием самой же идеи ментальности, т.е. отражает самое себя. Поэтому возникает серьезное подозрение: не является ли национальная ментальность фантомом?

Русская литература имеет свои традиции, русский фольклор возник не на пустом месте, в истоке тех или иных художественных произведений лежат определенные исторические процессы, тот или иной экономический, социальный и политический уклад, и тот факт, что русские народные песни в большинстве своем грустны и протяжны, не означает, что сегодняшняя русская ментальность выражается в песнях про кручину, тоску и широкую степь. Общественные взгляды складываются в значительно большей степени под воздействием конкретных социально-экономических факторов, чем под влиянием фольклора, и сегодняшние концепты не могут совпадать с концептами вчерашними, концепты программиста вряд ли совпадают с концептами врача, а концепты миллионера не могут совпадать с концептами пенсионера, живущего за чертой бедности, поэтому вести внеисторический и внесоциальный разговор на тему некой абстрактной национальной ментальности в любом случае некорректно.

Во-вторых, принято говорить именно об особенностях и даже загадочности «русской души», причем это словосочетание не только встречается на страницах российской печати, но распространено и на Западе. В то же время никто и никогда не пытается выяснять, что такое «норвежская душа», «британская душа», «чешская душа». Это обстоятельство можно трактовать двояко: можно вообразить, что только у русских есть некая особая загадочная душа, в то время как у всех остальных народов душа настолько тривиальна и малоинтересна, что и говорить о ней не стоит. Этот подход не выдерживает критики: данные антропологии и генетики показывают, что психофизиологическое устройство людей не зависит от их национальной принадлежности. Другая трактовка: русские по каким-то причинам в значительной степени озабочены пестованием этого конструкта, старательно углубляют и расширяют сферу его действия и настаивают на том, что его следует принимать всерьез и что он может и должен служить предметом обсуждения и даже научных изысканий. Если верно второе решение, то стоило бы проанализировать, в чьих интересах ведутся подобные изыскания и для каких целей они служат.

К сожалению, к этому направлению подключилась лингвистика, что крайне ослабляет ее потенциал, роняет ее авторитет в глазах представителей других наук, направляет активность многих серьезных лингвистов в псевдонаучное русло и открывает двери лингвистической науки для дилетантизма и шарлатанства. Еще А.А. Потебня предлагал различать ближайшее, т.е. есть собственно лексическое, значение слова и его дальнейшее, энциклопедическое, расширенное значение, и настаивал на том, что предметом лингвистики является только ближайшее значение (Потебня, 1958: 19–20). Разумеется, можно объявить, что наука развивается и то, что было принято в XIX в., в нынешнем может и должно быть преодолено. Но Потебня ограничивал предмет лексикологии изучением ближайшего значения слова не потому, что желал преградить путь научного прогресса, а потому, что он понимал, что за границами ближайшего значения заканчивается предмет лингвистики.

Энциклопедические знания, концептуализация, углубление и расширение семантического поля элементов лексикона до бесконечности уводят в сторону от того, что же именно происходит в голове некоего среднестатистического человека, когда он произносит *погода, стул, свобода*, как и почему он оперирует данными словами в определенных контекстах, с какими другими словами эти слова соединяются, образуя речевую цепочку. Важно знать, что в любом языке имеются слова, с трудом поддающиеся переводу, так как их значения настолько емкие, что их даже трудно объяснить: *тоска, горе, пошлость, растяпа, шалопай, нелепый, несусветный, добрый*. Но непереводаемость или трудности перевода подобных слов связаны не с особенностями национальной ментальности, а с особенностями развития ближайших (а не энциклопедических и не концептуальных) значений этих слов.

В-третьих, весь лексикон не может служить надежным материалом для извлечения информации о картине мира. Так, в русском языке есть понятие *экономическое чудо*, а самого экономического чуда нет и не было. Помимо *авось* есть его антоним *навверняка*, а наряду со словом *душа* имеется *бездушие*, но *навверняка* и *бездушие* в картину мира, согласно работам, ей посвященным, не входят. Разумеется, самим лингвистам, занимающимся разработкой концепции «лексикон как источник сведений о национальной картине мира» ясно, что извлекать соответствующие сведения можно лишь из определенных составляющих лексикона. Они ограничивают сферу своей активности определенным набором «ключевых слов». Какие же слова можно считать ключевыми для познания русской ментальности

и русской картины мира? Это, например, словарные пары *правда и истина, свобода и воля, добро и благо, долг и обязанность*, а также слова *авось, небось, душа, тоска, соскучиться, совестливый, жалостливый, попрекать* и некоторые другие. Каковы критерии отбора ключевых слов? Частотность критерием не является: во-первых, в соответствующих лингвистических работах данные о частотности не приводятся; во-вторых, вряд ли можно вести речь о частотности явно устаревших слов вроде *молодечество, удалство, ухарство, приволье*, в современном языке практически не используемых; в-третьих, критерий частотности неудобен еще и тем, что данные частотности могут показать результаты, не укладывающиеся в описываемую концепцию и даже ей противоречащие. Так, анализ русской идиоматики (не включающий, правда, корпус пословиц) показывает, что наибольшее количество идиом в русском языке – со словом *дело*, которое, однако, в набор ключевых слов, согласно работам о русской языковой картине мира, не входит¹: это противоречило бы таким ключевым словам, как *авось, наплевать, удалство* и нарушало бы стройную картину русской ментальности. Критерий «отсутствие переводных эквивалентов в западноевропейских языках (лакунарность)» в работах данного направления упоминается, но не явно и не последовательно: многие примеры непереводимости тех или иных слов на другие языки не представляются убедительными, а для большинства слов и вовсе не предпринимается попыток перевода. По-видимому, перевод для поиска и определения ключевых слов – явление вторичное. Вообще критерий определения ключевых слов ни в одной работе явно не называется², однако из их перечня можно сделать косвенный вывод о

¹ По данным частотности в сфере идиоматики (не включающей пословицы) в русском лексиконе приблизительно 200 идиом со словом *дело*, 80 идиом со словами *душа* и *рука*, 60 – со словом *голова*, 50 – со словами *место* и *глаз*, 40 – со словами *бог, господь*. Данные частотности приводятся по (Павлова, 2008).

² Исключение составляет коллективная монография *Языковая картина мира и лексемная лексикография* (2006). В ней предпринимается попытка определения «ключевых идей»: «*Определенная ключевая идея имеет тем больше оснований на лингво- или этноспецифичный статус, чем больше арсенал средств ее выражения в данном языке по сравнению с другими языками, чем разнообразнее их природа (особенно показательны в этом отношении грамматикализованные значения) и чем больше число языков, в которых она не может быть выражена столь же простыми средствами*» (Языковая картина мира..., 2006: 35). Казалось бы, здесь как раз и требовались бы данные по частотности и данные контрастивной лингвистики о количестве

том, что ведущим критерием является уже заранее сложившееся представление авторов подобных работ о русской ментальности, ограниченное главным образом школьными стереотипами, о которых выше уже шла речь. Иными словами, лексикон русского языка используется для анализа русской ментальности, но ограничение изучаемых участков лексикона производится согласно уже имеющимся до начала всякого анализа представлениям о его будущих результатах. Налицо замкнутый круг: поиск выводов, сделанных априори. Научность такого подхода не требует комментариев.

Справедливости ради следует отметить, что время от времени предпринимаются попытки противоположного характера: производится непредвзятый анализ тех или иных лексем и уже из этого анализа делаются выводы³. Такой подход не вызывал бы возражений, если бы было достоверно известно, что факты лексикона действительно могут служить надежным источником для научных выводов о национальной картине мира. Но и это не доказано. Скажем, то обстоятельство, что немцы об определенном отрезке времени говорят *в час утра* или *в два часа утра*, а русские о том же времени говорят *в час ночи* или *в два часа ночи*, можно, с одной стороны, трактовать как доказательство различия в восприятии времени представителями двух упомянутых народов, т.е. предлагать объяснение в ключе различий в картине мира, с другой – как сложившуюся в том или ином языке традицию, как узус, к картине мира не имеющий никакого отношения. В пользу второй трактовки свидетельствуют огромные пласты национальных лексиконов в их сравнении. Попробуем отвлечься от предвзятого подхода, ограниченного набором заранее заготовленных ключевых слов, и

языков, в которых определенная идея не выражена или выражена более сложными средствами. Но такие данные отсутствуют. Это и понятно: эти данные противоречили бы набору ключевых слов, который принято предлагать вниманию читателей литературы, посвященной языковой картине мира. Кроме того, из этого определения неясно, можно ли, например, считать слово *душа* ключевым для русского языка, если в немецком, скажем, его эквивалентом в большом числе переводных идиом выступает слово *Herz* 'сердце', или правомочно ли утверждать, что грамматикализованные значения пассивности актанта *-сь, -ся (делается, думается, работается)* являются ключевой идеей, если, скажем, в немецком в качестве эквивалента выступает аналитическая форма *lässt sich + Infinitiv*. Подобные вопросы в книге не рассматриваются, а определение «ключевых идей», к сожалению, «повисает в воздухе».

³ См., например, рассуждения о различном членении суток разными народами (Зализняк и др., 2005: 19–24).

извлечь ту или иную релевантную информацию непосредственно из сравнения двух лексиконов, русского и немецкого. В работах по лексикологии и по теории перевода указывается, что несовпадения лексических составов языков объясняются различием в исторической практике народов. Если бы это положение последовательно выдерживалось, то поиск различий между лексиконами мог бы служить надежным источником для выводов если не о национальной ментальности (поскольку ее право на – по крайней мере научное – существование не доказано), то об историческом опыте и практике того или иного народа. Однако и это положение опровергается конкретными примерами. Выше уже упоминалось *экономическое чудо*: каждый язык заимствует те или иные лексемы из других языков, в то время как практика соответствующего народа не оказывается вынуждена тем самым включать действия, объекты или события, которые выступают в качестве референтов заимствуемых слов. Наблюдается и противоположное явление: некоторый объект в практике существует, а слова для его обозначения нет. В немецком, скажем, возник глагол *simsen*, означающий 'послать СМС-сообщение по мобильному телефону'. В русском специального слова для обозначения того же действия не образовалось, хотя соответствующее действие в практике народа распространено ничуть не менее. По-видимому, словосочетание *послать СМС* является достаточно удобным средством для его наименования.

Далее, в любом языке имеются лексико-семантические гнезда, которые, казалось бы, свидетельствуют о национальном своеобразии и специфике исторического развития соответствующего народа, но никогда нет уверенности, что данный вывод окажется исторически верным. В русском языке наблюдается обилие идиом вокруг слов *мир, свет, люди*: *всем миром, пустить по миру, с миру по нитке, на миру и смерть красна, ославить на весь свет, выйти в свет, выйти в люди, на людях, что люди скажут, как я людям в глаза посмотрю* и т.п. Напрашивается вывод, что жизнь на людях, на миру, т.е. общинный уклад столетиями определял общественное сознание. История народа, казалось бы, этот вывод подтверждает. Обилие в обиходном немецком слов, обозначающих те или иные процессы из области психологии (*ausleben, verdrängen, sich abreagieren, aufarbeiten, sich einer Sache stellen, verwinden*) легко объяснить проникновением идей Фрейда в общественное сознание. Однако подобные примеры не всегда столь легко поддаются трактовке. В русском языке имеется огромное число идиом, включающих слова *бог, господи, боже, божеский*. В сопоставлении с этим обилием немецкий лексикон оказывается

значительно скуднее. Означает ли этот факт, что русские люди в своей истории были более религиозны? Как можно измерить степень религиозности? История религии в Германии на несколько веков старше, Германия является родиной Реформации и страной религиозных войн, религиозная традиция в Западной Германии на протяжении всей истории практически не прерывалась. Можно утверждать, что отношение русского человека к Богу более индивидуальное, искреннее, непосредственное, личностное, но все это досужие домыслы, не подтверждаемые ничем, кроме все той же идиоматики и некоторых произведений русской художественной литературы и русской философии – для лингвистических теорий этого материала недостаточно.

Далее, как следует трактовать уже упомянутый выше факт изобилия в русском языке идиом со словом *дело*? Следует ли его понимать как доказательство трудолюбия русского народа или, наоборот, его лени (может быть, о деле только мечталось)? Продолжая эту же линию рассуждений, заметим, что в списке частотности русских идиом бросается в глаза идиоматика вокруг слова *место*: *не на своем месте, сердце не на месте, насиженное место, не оставить живого места, чему-л. где-л. нет места, сказать не к месту, доходное место, с места в карьер, ни с места*. Как соотносить информацию о высокой частотности идиоматики, включающей слово *место*, с исторической практикой народа? Конечно, удобнее останавливаться лишь на тех фактах, которые укладываются в заранее заготовленную теорию. Но научная методология требует или учитывать все факты одного порядка, или не учитывать ни одного из них. Почему пары *правда / истина, долг / обязанность, добро / благо, свобода / воля* непременно следует считать значимыми для русской языковой картины мира? А как быть с немецкими парами близких по значению слов *Pflicht / Schuldigkeit, Ziel / Zweck, Aufmerksamkeit / Achtung* – считать ли их значимыми для немецкой языковой картины мира? И если да, то что именно наличие этих пар собой знаменует?

В русском вокабуляре заметно выделяется лексико-семантическое гнездо ласкательной лексики: там, где немец в порядке ласкового обращения к близкому человеку скажет *Schatz*, русский может выбрать любой вариант из длинного ряда синонимов: *мое сокровище, моя радость, кисуля, рыбка, солнышко, зайчик, пупсик, лапочка, дружок, малыш, голубчик, золотце* и т.п. Следует ли трактовать этот факт как доказательство того, что русский народ более ласков? Эмоционален? Сердечен? Если привлекать к объяснению означенного языкового факта все эти стереотипы, то не стоит ли вспомнить и стереотипное

представление о сентиментальности немцев? Как соотносить их сентиментальность со скудным запасом ласкательной лексики в области обращений?

Жесткая соотнесенность лакунарности с исторической практикой народа является искусственным ограничением как для исследования причин того или иного лексического явления, так и для его трактовки. Хрестоматийные примеры типа *нога*, *рука* там, где при переводе на другие европейские языки имеются два слова для обозначения разных частей ноги или руки, или, напротив, пары *брат* и *сестра* вместо одного слова *Geschwister*, *теща* и *свекровь* как разные переводы для слова *Schwiegermutter* или *клещи* и *щипцы* как разные варианты трактовки значения слова *Zange* не могут служить подтверждением подхода «от практики к языку». Принципиальных различий в практике между европейскими народами в связи с референтами приводимых здесь слов не наблюдалось. Причины нужно искать или в этимологии, т.е. в истории самого языка (а не народа – носителя этого языка), или в случайности, в традиции, в узусе (так принято). Представляется, что случайность не менее существенна для истории развития языка, чем историческая практика.

Во всех языках обнаруживаются лакуны из области гипонимов по отношению к гиперонимам в других языках. Так, *Wagen* в немецком может обозначать в различных контекстах любое из следующих понятий: *вагон*, *телега*, *подвода*, *тележка*, *коляска*, *карета*, *повозка*, *возок*, *легковой автомобиль*, *грузовик*. В контексте многозначность слова *Wagen* снимается и не является препятствием для успешной коммуникации. В немецком различают глаголы, служащие переводом для слова *собирать*, в зависимости от того, что именно собирают: в переводах словосочетаний *собирать спаржу*, *собирать урожай*, *собирать ягоды*, *собирать грибы*, *собирать рассыпавшиеся булавки* будут использованы разные немецкие глаголы. Но носители русского языка не испытывают неудобств от неимения возможности использовать для различных объектов собирания разные глаголы; они даже не знают, что в принципе могли бы испытывать неудобства. Наличие или отсутствие специальных слов для более детального представления отрезков действительности в одном языке по сравнению с другим часто не имеет прямого отношения к практике.

В немецком языке имеется слово *Geisterfahrer* – 'человек, выезжающий на полосу встречного движения'. В русском эквивалент этого слова отсутствует. При этом нет никаких оснований утверждать, что в практике российского вождения соответствующее явление не встречается. В немецком есть глагол *füßeln* – 'касаться кого-либо под

столом ногой в целях заигрывания'. В русском нет аналога, хотя соответствующее явление, вне всякого сомнения, имеет место в общественной жизни. Существует немецкий глагол *anzapfen* (*das Telefon anzapfen*) – 'тайком подключиться к чужой телефонной линии (чтобы не платить за телефон)': и это действие в практике российской жизни временами имеет место, а удобного слова для его обозначения нет. Глагол *kiebitzen* означает 'тайком заглядывать в чужие карты' – еще одна лакуна в русском. Все эти примеры призваны показать, что нет и не может быть однозначного отношения между общественной практикой и лексиконом. Примитивный подход, ставящий знак равенства между этими явлениями, может привести к полному искажению объективной картины языковой и этнографической действительности, а в межличностном плане к недоразумениям, обидам и взаимному непониманию. Стоит преувеличить значимость лакунарности, как уже можно говорить о том, что немцы типичные ловеласы (*füßeln*) и жулики (*kiebitzen*, *Telefon anzapfen*). Да и трактовки одного и того же лексического явления могут быть самыми разными. Такую, например, лексическую лакуну в русском, как немецкий глагол *meucheln* 'подло убить кого-л. исподтишка, из-за угла', можно трактовать как то обстоятельство, что в России никого исподтишка не убивают, следовательно, и потребности в возникновении подобного глагола нет, а можно и как то, что немецкое общественное сознание выделяет подлое убийство из-за угла в особый статус, обозначая его специальным словом, поскольку подобное явление обществом резко осуждается. Вероятно, можно придумать и другие трактовки, столь же «убедительные».

Одной из причин лакунарности выступает морфология: морфологические особенности каждого языка, продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели. Известно, что немецкий язык с легкостью создает новые слова, сцепляя два и более отдельных корня в одно новое слово. Закрепится ли оно в словаре или останется сугубо единичным индивидуальным образованием, определяется как практической необходимостью, так и случайностью. Неологизмы, созданные именитыми авторами, имеют больше шансов войти в языковой состав, чем слова, придумываемые людьми, не известными широкой общественности, а у письменно зафиксированных неологизмов больше шансов на словарный статус по сравнению с устным словотворчеством. Русский язык обладает удобным средством для образования эвфемизмов от прилагательных и наречий: подставляя к какому-нибудь оценочному слову корень *мало-* (или заменяя *не-* на *мало-*), мы получаем возможность смягчить

признак, выражаемый в прилагательном или наречии, и тем самым смягчить впечатление слушателя от воспринимаемого содержания: *малодоступный* (вместо *недоступный*), *малоприятный* (вместо *неприятный*), *малозначительный* (вместо *незначительный*), *малопонятно* (вместо *непонятно*). Обилие подобных эвфемизмов в русском языке объясняется не мягкостью и деликатностью, присущими характеру русского народа, а наличием удобной продуктивной морфологической модели. В немецком вторую часть сложных слов могут составлять корни *-orientiert*, *-weit*, *-übergreifend*, *-gerecht*, благодаря которым с легкостью производятся новые слова, отчасти закрепляемые в лексиконе и фиксируемые словарями: *zukunftsorientiert*, *weltweit*, *länderübergreifend*, *behindertengerecht*. Лакуны в русском возникают здесь не потому, что нет потребности отразить в языке подобное же содержание, а потому, что русский язык не обладает аналогичными морфологическими средствами.

Далее, не вполне определено понятие лакуны (или безэквивалентной лексики) как таковое. Является ли отсутствие в немецком стилистически эквивалентного перевода для глагола *запоминать* или для существительного *ланиты* признаком лакунарности? Считать ли наличие одного слова в исходном языке и (формально неидиоматического) словосочетания в качестве его предполагаемого перевода в другом языке явлением, удовлетворяющим критерию лакунарности? Является ли словосочетание *nicht enden wollend* эквивалентным переводом для *нескончаемый* или в немецком наблюдается в этом месте явление лакунарности, поскольку в качестве перевода можно подобрать лишь словосочетание, не являющееся формально даже устойчивым элементом лексикона, не говоря уже о полностью отсутствующих в нем следах идиоматичности? *Жевать с полным ртом* в качестве перевода для глагола *tampfen* – эквивалент или признак лакунарности? А *делать перерыв* для *pausieren*? Есть ли эквивалентные переводы на немецкий язык для глаголов *вечереть*, *темнеть*, *бледнеть*, если в их переводах участвуют прилагательное или существительное в сочетании с глаголом *werden* („становиться”) и переводы представляют собой свободные словосочетания, а не словарные лексемы? Определение лакунарности целиком зависит от автора и его подхода: как договоримся, так и будем считать. Этот момент представляет собой объективную трудность: никто в конечном итоге не знает, какие единицы участвуют в порождении речи и являются ли лексемы, как они отражены на сегодняшний день в лексикографии, действительно теми минимальными «кирпичиками»,

из которых выстраивается речевой поток. Не исключено, что формально свободные словосочетания *dunkel werden, blass werden* – это и есть минимальные единицы порождения речи, и тогда чисто словарный подход, отвергающий право подобных конструкций считаться эквивалентами глаголов *темнеть, бледнеть* по причине их отсутствия в сегодняшних словарях, некорректен. Не исключено, наоборот, что минимальными единицами порождения речи являются морфемы, и тогда лексемно-центрический подход к проблематике лакунарности вновь окажется несостоятельным. Как часто мы произносим приставку и силимся отыскать подходящий корень, который вдруг сходу забылся. Помним, что *недо-* или *пере-*, а что именно *недо-* или *пере-*, вспомнить не можем. А иногда и вспоминать не приходится: собеседник и так понял. Возможно также, что имеет место и то, и другое, и третье – один и тот же человек в определенных периоды своей жизни или в определенном состоянии порождает речь с помощью принципиально разных составляющих: в фокусе его внимания могут оказаться в принципе даже отдельные фонемы, если ему важно по каким-то причинам в коммуникативных целях подчеркнуть их сходство или различие; возможно также, что он порождает речь, извлекая из памяти целые готовые предложения или даже межфразовые единства (например, цитаты или заученные ранее фразы и их сочетания). Другими словами, в синтагматике, возможно, участвуют далеко не только лексемы, и тогда проблематика эквивалентности, лакунарности, переводимости должна быть пересмотрена. Лексемно-центрический подход – дань многолетней традиции, но не отражение реального порождения процесса речи: о последнем пока слишком мало известно.

Изложенные здесь соображения призваны поколебать уверенность в том, что анализ лексики позволяет делать выводы о характере народа. Язык настолько же является «ярким отражением мировоззрения народа», насколько он им не является: во-первых, у народа нет мировоззрения (по крайней мере, нигде и никем не доказано реальное существование подобного явления), а во-вторых, даже культура народа и его историческая практика отражены в языке не полностью и не напрямую. Любая попытка использовать язык как источник этнографических знаний обречена на провал.

Литература

Wierzbicka. Anna. 1992. Semantics, Culture, and Cognition. in Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. N.Y. Oxford.

- Wierzbicka. Anna. 1997. Understanding Cultures through Their Key Words.
- Булыгина. Татьяна. В., Шмелев. А.Д. 1997. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). Москва.
- Вежицкая. Анна. 1996. Язык. Культура. Познание. Русские словари: Москва.
- Вежицкая. Анна. 1999. Семантические универсалии и описание языков. Языки русской культуры: Москва.
- Зализняк. Анна. А., Левонтина. И. Б., Шмелев. А. Д. 2005. Ключевые идеи русской языковой картины мира. Языки русской культуры: Москва.
- Карасик. Владимир. И., Прохвачева. О. Г., Зубкова. Я. В., Грабарова. Э. В. 2005. Иная ментальность. Гнозис: Москва.
- Красавский. Н. А. 2008. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах. Гнозис: Москва.
- Павлова. Анна. В. 2006. Идея лингвистической относительности и культурология. в ... Слово ответит: Памяти Аллы Соломоновны Штерн и Леонида Вольковича Сахарного. Пермь. С. 115–132.
- Павлова. Анна. В. 2008. Немецко-русский и русско-немецкий словарь трудностей перевода. (рукопись).
- Потебня Александр. А. 1958. Из записок по русской грамматике. Т. I-II. Учпедгиз: Москва. 536 с.
- Роль русского языка в формировании российского менталитета. 2007. Тверь.
- Русские и «русскость». Лингво-культурологические этюды. 2006. Гнозис: Москва.
- Языковая картина мира и системная лексикография. 2006. Под ред. Ю. Д. Апресяна. Языки славянских культур: Москва.